

Мой сложный ребёнок, мой ученик

Александр ЯРИН, педагог

Раз победил я шестилетнего Филиппа в каком-то пустяковом споре. На мгновение он растерялся. Вдруг глаза у него засветились. После двух кувырков по дивану он «сформулировал»:

— А я вот, папочка, всё равно не сотрусь!

— Как это?

Ещё кувырок:

— Ну, дух мой не сотрётся.

— Какой такой дух?

— Какой, какой... Не знаешь, какой? Каким каждый человек дышит.

Значит, бывает иногда, что дух стирается — есть такая опасность. Написан он, что ли, или нарисован? Мысль вполне в духе Филипика: сам он, пожалуй, что хочешь нарисует — можно и дух, и ангела, и рыцаря, и зайца, палача, Геракла, бобра, коня, царевну и всё остальное. Больше, впрочем, лепит. Весь дом до потолка заставлен его «лип липычами»; негде сесть, чтобы какого-нибудь не расплющить. Дух его, конечно, ни за что не сотрётся, это мы в нём с двухлетнего возраста видим... Хорошо бы только сначала этот дух как-нибудь закрепить, чтобы не улетучился понапрасну в воздух. «Липычи» безнадежно исчезают, особенно летом, детские рисунки обычно редко удаётся сохранить (кстати, почему? — ведь многие дети гениально рисуют).

А вот с чтением у нас очень долго ничего не получалось: в пять с половиной лет он ни в какую не хотел учиться, не желал повторять и «закреплять».

Без зубрёжки, без бесчисленных повторений не превзойдёшь ни музыки, ни науки, ни циркового искусства, ни иностранных языков; не почувствуешь вкуса труда и преодоления, не узнаешь предела собственных сил и на всю жизнь останешься «вне» — ничто не станет для тебя глубинно своим. Поэтому нам надо «мягко, но строго», с любовью, но без поблажек с раннего возраста принуждать детей к труду, к самоотдаче... ну и так далее. Я сам всю жизнь держался подобных убеждений и теперь не спешу от них отказываться. И если с другими ребятами у меня получается, то вот с Филиппом нашла коса на камень. Надавить легко, труднее смотреть, как он с беззвучным рыданием отходит к стене, закрывает лицо руками и сотрясается всей худенькой своей спиной. Человек, который со сказочной лёгкостью подхватывает любую условность, в мгновение ока переносится в необычайные волшебные миры, — в ужасе пасует перед простейшими школьными условностями.

Подозрительная ненависть его к расчётливо «поставленным» вопросам граничит с манией, а своё умение парировать удары собеседника он возвёл в степень искусства.

Вот пример его фехтовального мастерства (подслушано этим летом в деревне). День жаркий, но Филипп уже два часа не отходит от своего дяди-художника, пристроился рядом на чердаке под раскалённой крышей рисовать букет. Работают молча. Наконец взрослому человеку захотелось нарушить молчание, — то ли тишина наскучила, то ли впрямь вдруг мелькнула надежда узнать что-то важное о собственном своём деле (дети ведь известные философы...).

— Филипп, вот ты зачем этот букет рисуешь?

— Как это? (Почувствовал опасность, лихорадочно заработал мозг.)

— Зачем, говорю, тебе этот букет рисовать?

— А?

— Вот этот букет видишь?

— Какой букет?

— Как какой? Здесь что, два букета, что ли?

— Почему два?

- Вот я и говорю...
- Что говоришь?
- Что один.
- Ты сказал «два». Откуда два?
- Я сказал «один».
- Сам сказал «два», — и т.д.

И так всегда, когда ребёнок чувствовал, что сейчас его будут «обучать».

— Всё же я научу его читать, потому что это очень легко, — думаю я. — Странное, конечно, обоснование. Обычно делаешь то, что необходимо; да желательно ещё, чтобы оно было потруднее. Нам ещё со школьных лет как-то неловко ходить «по пути наименьшего сопротивления» да ещё припоминается нечто сакраментальное в устах воспитателей и учителей вроде: «*это-то* каждый может, а ты поди-ка сделай *вот то!*»

...Вон он сидит на куче какого-то строительного хлама, в окружении таких же, как он сам, удалцов, и лепит из грязи пироги. «Филипп! Пойдём со мной училки рисовать!» Через минуту уже обнимает меня за ноги, лицо — вверх: «Училки — это я обожаю».

Само слово «училки» для обозначения клочков бумаги, на которых мы работаем, — его изобретение, на каждом — забавный текст из нескольких простых предложений. Вместо отдельных слов (существительных) — рисунки (например, в предложении: «Один мальчик любил дразнить собак» нарисованы мальчик и собаки).

Пока Филипп устраивается на моих коленях, я с преувеличенными трудностями отыскиваю ручку. Снизу идут так называемые у нас «кривые буквы», моя маленькая гордость. Он их расщёлкивает очень лихо и перед каждой «училкой» не преминет спросить: «А кривые будут?» «Будут, будут».

Сюжетом многих «кривых», да и «прямых» тоже, часто бывают приключения рыцарей-молодцов, которых он лепит из пластилина десятками. «Любимая училка» целиком посвящена одному из этого железного племени. Близкое родство царя (сидит на троне) и рыцаря, а также превращения мяча в мёч производит должное впечатление; засыпая, он ещё хихикает под одеялом над этой удивительной штукой.

Потихоньку рыцари начинают мне надоедать и я перехожу к другим персонажам. У слонов в тексте автор — я, слон на комарике внутри рамки — его. В «кривых», однако, снова встречаем нашего знакомца с мечом и щитом. Дужки над слогами я черчу по ходу чтения или рисую в воздухе: без них он ещё не обходится, не понимает смысла слога. А впрочем, неплохо справляется с сочетаниями твёрдых согласных с йотированными гласными, например, я ему: «Л и Я будет...», он: «ЛЯ».

Кстати, в наших беседах согласные буквы я всегда называю одним звуком: не [ве], [ме], [ре], а [в], [м], [р] и т.д., иначе при чтении начинается всякая чепуха. Правда, недавно он, задумавшись перед сном, без всякой связи, вдруг сделал такое косноязычно-трудное замечание, что «буквы, когда просто говоришь, их две, а когда читаешь, то одна». Я, конечно, сразу понял, в чём тут дело, но на всякий случай переспросил: «Какие это?» «Ну, Я там или Сэ...» Удобный повод объяснить разницу между названием буквы и её звучанием в слове; а тут ещё, по случаю, мы как раз вечерами читали вслух книгу В. Яна «Никита и Микитка». Там дети тоже учат буквы: аз, буки, веди, глаголь, добро. Я сказал: «В старину вот эта буква называлась «веди», теперь называется «ве», а читалась и тогда, и теперь — [в]». Он понял.

Теперь пора переходить к самостоятельному письму: сначала удовлетворим привычные ожидания с помощью всегдашнего текста типа «слова — картинки», затем рисуем таблицу; слева — мои каракули, справа оставляем место для его. Пишет он очень осторожно, не спуская с меня глаз и требуя моментального подтверждения каждой проведённой чёрточке.

При этом обнаруживает патологическую неспособность запомнить, в какую сторону направлена буква. Перед тем как писать, вопросительно машет ладошкой в ту или другую сторону. Я подтверждаю или отбрасываю выбранный вариант мимикой и мычанием. Как видно, в слове «гвоздь» за буквой З я всё же не уследил. Получилась какая-то каракатица. Я увековечил её снизу с помощью «кривых».

Вообще у него очень сложный и таинственный способ запоминания букв. Ни одну букву, хотя бы она трижды встречалась в одном слове, он ни за что не рискнёт написать сразу, а прежде всегда, с вопросом в голосе, назовёт каким-то образом связавшийся с ней символ, всегда один и тот же, например: Б — «бабушка», В — «важный», У — «ветка». Я готов согласиться с тем, что в букве Б есть что-то от сгорбленной старушки с большой сумкой; что буква В, особенно если выпятить ей живот, имеет важный вид; но почему нельзя хоть раз написать букву Н, не сличив её сначала с Незнайкой или Л — с Лизой (старшая сестра), — понять труднее. Все дороги к букве идут у него, как и у многих моих учеников, только через какой-то (зрительный?) образ. Вот и выходит, что он и сам, без моего понуждения, выбирает себе окольные пути «наибольшего сопротивления».

г. Москва